Сергей Маковский

Год в Усадьбе

стихи



Париж

1949

СЕРГЕЙ МАКОВСКИЙ

ГОД В УСАДЬБЕ

СТИХИ

ПАРИЖ
1949

Обложка — по рисунку А. Б. Серебрякова.

Посвящаю эту книгу моему сыну Ивану.

С. М.

ОТ АВТОРА

Поэмы, собранные в этой книжке, появлялись, в свое время, в зарубежных журналах и сборниках. Почти все задуманы и написаны "начерно" в Ржевнице (окрестность Праги), тому уж четверть века; большая часть вошла в отпечатанный мною, не для продажи, сборник "Вечер" (1941 г.). С тех пор, просматривая эти стихи, многое в них я решил исправить, изменить, переписать заново. Это побуждает меня издать их, в окончательной редакции, отдельной книгой.

Рабыней времени ты рождена
и на земле проходишь тенью, —
но, обреченная исчезновенью,
дочь праха, небу ты нужна.

О, вещая! Не умолкай, звучи...

ГОД В УСАДЬБЕ

Посвящаю Марине.

ПОСВЯЩЕНИЕ

Я не жил там — жила с тобой мечта,
с тобой, моей царевной светлоокой,
на озере, где шепчет над осокой
шершавый лист ольхового куста.

Там — сиротой росла ты одиноко.
Мы встретились... И в песне неспроста
печаль моя как будто заклята
твоей тоской по юности далекой.

Ты рассказать умела, как никто, —
я рифмовал, хоть не всегда умело.
В моем стихе воспоминанье пело,
невольным вымыслом перевито.
И муза с жалостью на нас глядела,
когда подчас нам слышалось: не то...

ИЮНЬ

Слепительно хорош июньский день,
цветут луга и пахнут медом травы.
Прошелестят на берегу дубравы,
чуть зыблется березок тонких тень.

О, благодать! О, вековая лень!
Овсы да рожь, да нищие канавы.
Вдали-вдали — собор золотоглавый
и белые дымки от деревень.

Не думать, не желать... Лежать бы сонно,
прислушиваясь к шороху дубрав
среди густых, прогретых солнцем трав,
и — тишине и синеве бездонной
всего себя доверчиво отдав —
уйти, не быть... Бессмертно, упоенно!

ИЮЛЬ

Туманно озеро, и тянут утки
над порослью болот береговой.
Я вышел в парк тропинкой луговой:
и в парке сенокос, вторые сутки.

Бредут косцы вразброд. Веселье, шутки,
и бедные ложатся под косой,
вечерней окропленные росой,
и колокольчики, и незабудки.

Ромашка, волчий зуб, дрема и сон,
фиалки белые и синий лен...
Мне жаль цветов, загубленных так рано.
Собрав большой пучок, в цветы влюблен,
спешу домой от вражеского стана, —
а небеса горят, горят багряно...

АВГУСТ

Спадает зной, хоть и слепят лучи.
Дожата рожь и обнажились нивы.
Гул молотьбы в деревне хлопотливый,
на пажити слетаются грачи.

Люблю тебя, мой август, — горячи
твоих плодов душистые наливы,
люблю берез разросшихся завивы
и звезд падучих россыпи в ночи.

Люблю тебя, радушный, тароватый,
с охотами, с ауканьем, с груздем, —
люблю зайти далеко в бор косматый,
в грозу и бурю мокнуть под дождем.
Не налюбуюсь на твои закаты,
повеявшие ранним сентябрем.

СЕНТЯБРЬ

Уж первой ржавчины предательские пятна
расплылись золотом и пурпуром в листве.
Клубятся облака в хрустальной синеве,
и тень от них бежит, меняясь непонятно.

Потянет холодком, наутро лед во рве.
Озимые поля чернеют благодатно,
вдоль придорожных меж цветут безароматно
последние цветы в нескошенной траве.

Гвоздика липкая пестрит еще долины
и вереск розовый все медлит отцвести.
В прозрачном воздухе тончайшей паутины
повисли и дрожат чуть видные пути.
С небес прощальный крик несется журавлиный.
О, лето милое, осеннее, прости!

ОКТЯБРЬ

Осиротел бассейн. Давно ли дружно
в нем отражались купы старых лип,
и блеск играл золотоперых рыб,
и шелестел фонтан струей жемчужной...

Теперь он пуст, теперь его не нужно.
В немых аллеях только ветра всхлип,
синицы писк, дуплистых вязов скрип,
да ты, печаль моя по дали южной!

Примолкла жизнь, далёко племена
болтливых птиц, кроты зарылись в норах.
Лишь воронье: кра-кра! И тишина.
Куда ни глянь — пожухлых листьев ворох...
Безлюдье, грусть, сухой предзимний шорох
и первых заморозков седина.

НОЯБРЬ

Пошел снежок, запорошило путь.
В санях — беда, а не берут колеса,
того гляди, раскатишься с откоса,
да милостив Господь, уж как нибудь!

В усадьбе от забот все смотрят косо,
зима не ждет и людям не дохнуть:
капусту рубят, мерзлую чуть-чуть,
валяют шерсть, просеивают просо.

Мелькают дни в трудах по пустякам,
а сумрак стелется туманно-сизый.
Взойдет луна, в серебряные ризы
оденет сад и тронет, по стенам
диванной, завитки тяжелых рам,
рояль в углу, паркеты и карнизы.

ДЕКАБРЬ

Сегодня Рождество, сегодня елка,
сегодня в детской с самого утра
такой содом — шум, беготня, игра,
что сбилась набок нянина наколка.

А под-вечер столпилась детвора
и сказку слушает про сера-волка.
Да перед сном не жди от сказок толка, —
я тороплю ребят: Ну, спать пора!

Не тут-то было. — Сказку, молят слезно, —
еще одну, пожалуйста, одну!
— Нет, дети, спать, — я повторяю грозно.
И в теплую, живую тишину
все погрузилось... Входит няня. — Ну?
Что дети?— Спят. И полночь бьет. Как поздно...

ЯНВАРЬ

Бело-бело, все снегом замело,
блестят алмазами поля-пустыни.
Бело-бело, а небо — яхонт синий.
Посмотришь в сад сквозь мерзлое стекло,

и не узнать: там чудо расцвело,
пушистым кружевом заплелся иней...
Уж подан чай. Дрова трещат в камине.
Кот жмурится. Светло, тепло, жило.

Мальчишки на дворе слепили турка,
пыль от снежков столбом и смех до слез.
— Слышь, вы! Не холодно? — Что за вопрос!
А в сказочном бору сигает юрко
косой беляк, и бродит Дед-Мороз,
и о весне задумалась Снегурка.

ФЕВРАЛЬ

Взметает, громоздит, взлохмачивает снег,
разбушевалась — ух! — крутит ночная вьюга,
нахмуренной зимы бездомная подруга,
и чудится, метель не отгорюет век.

В угрюмых пустырях, над гладью белых рек
снует голодный волк и, торопя друг друга,
не зная выхода из *заклятого* круга,
храпит усталый конь и стынет человек.

Как души грешные над братскою могилой,
в пушистом саване взметнутся сосны вдруг...
Скорей бы огонек! Да нет, все *уже* круг,
бушует ветер злей и буйной хлещет силой.
Кружит сам леший тут... И в зарощи: тук-тук...
Остановился конь. О, Господи, помилуй!

МАРТ

На мартовском снегу еще скрипучий наст,
а с крыш веселые забрызгали капели
и шапки белые в саду стряхнули ели.
Воркует голубь, смел, нахохлен и грудаст.

Весна! Пасхальный звон в ее волшебном хмеле.
Не рано-ль? Но мечтать кто в марте не горазд?
И воздух млеющий живым теплом обдаст,
и слышишь, как поют весенние свирели.

В лугах подтаявших пузырятся ручьи
и тронулись пушком чуть розовым рябины.
Упавшие черны, как угли, хворостины.
Без устали в кустах стрекочут воробьи.
Крестьяне на-гору из синей полыньи
везут прозрачные и голубые льдины.

АПРЕЛЬ

Набухли почки верб, и перелески
в проталинах давным-давно цветут.
Озябших трав подснежный изумруд
и неба синь так вдохновенно-резки!

Теплеет солнце, гуще занавески
отмерзших рощ. И лютик тут-как-тут,
и над черемухой пчелиный гуд,
и жаворонок вьется в горнем блеске.

День целый птичий гам. Уж возле гнезд
щеглы, чижи, малиновки запели.
Щебечут ласточки, скворец и дрозд
трещат... И соловьи при свете звезд,
неискушенные еще в апреле,
порой и невпопад заводят трели.

М А Й

Я был на кладбище. И там весна:
ирис, жасмин, сирени белой дымы,
и ландышем (цветок ее любимый)
весенняя могила убрана.

Стрекозы легкие носились мимо
и золотом звенела тишина...
Здесь, под крестом берестовым, она
уснула навсегда, непостижимо.

Я помню все. Но ты, забыла-ль ты,
неотданная мне ревнивым раем,
любовь мою и слезы и мечты,
отцветшие когда-то вместе с маем?
И мне в ответ могильные цветы:
— Мы любим, оттого что умираем.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Все призрачно в дыму отшедших дней,
но, Боже мой, как безнадежно-явно!
И быль, и сон — давно и так недавно.
Тем сладостнее вспомнить и больней...

О, как жива моя тоска по ней,
еще вчера и близкой, и державной,
и вот — чужой, безрадостной, бесславной.
покорно тонущей в крови своей.

Россия, Русь! Тебе ли роковая,
предвещанная гибель суждена?
Или стоишь у врат, еще не зная?
Тяжка пред Господом твоя вина, —
слепая, страшная, но все — живая
и все любимая, навек одна.

Ржевница. 1920.

С К Е Л Е



Был пасмурный февраль, всходила чуть трава,
белели в порослях подснежники лесные,
пустынный вечер гас и золотил едва
крутые скаты гор и тучи дождевые.
Местами на камнях весенний таял лед,
и было холодно. Шумел поток в ущелье.
Измаянный тщетой томительных невзгод,
не радуясь весне, я брел на новоселье.
Куда? Не все-ль равно! Я шел вперед, вперед,
к мешку дорожному приучивая спину,
туда, где не было южнобережных вод,
через Шайтан-Мердвен в Байдарскую долину.
Без цели, наугад — скорей, куда-нибудь!
Дубы корявые, ободранные буки,
как злые нищие, мне преграждали путь,
шипы кустарников кололи больно руки.
Все выше между скал обрывистых тропа.
Вот — перевал, и вниз кремнистая дорога,

и снова хилый лес и камни и толпа
коряг обугленных, черневших так убого...
И вдруг — о, волшебство! — передо мной
простор,
согретый ласковым, лучисто-нежным югом,
и в золоте зари чуть видимый узор
холмов, раскинутых широким полукругом...
Как хорошо... О, нет, нет никогда во сне
простор не грезился чудесней и безбрежней,
и Божья красота не улыбалась мне
спокойнее, добрей, блаженно-безмятежней!

Прохладная изба. Из окон вдовий двор, —
колодезь, клумбы роз, табачные сараи,
соседок за стеной нерусский разговор,
индюшек и гусей рассыпанные стаи...
Все, все отрадно здесь, милей день-ото-дня:
оладьи на обед и к ужину султанка,
и эта пасека у ветхого плетня,
и хлопотливая красавица гречанка, —
ее рассказ о том, как нынче трудно ей
управиться одной с работой деревенской,

и выводок пяти подростков-дочерей,
смущающих меня задумчивостью женской...

Страдою полон день. С утра и млад и стар
в чаирах боронит и поливает гряды.
Не умолкает скрип нагруженных мажар,
свершаются труды, как тихие обряды.
Не налюбуешься! По заросли брожу —
все тропы исходил. В Узундже и Саватке
друзей моих, татар, я навещать хожу:
люблю наряды их и гордые повадки,
неторопливый пляс на свадебных пирах
и верность древнюю гостеприимства праву,
«селямы» важные и в сакле, на коврах —
степенный разговор и кофий по уставу.

Настанет вечер. Тишь. Кузнечик заскребет,
у завитых плетней — играющие дети.
Угрюмый муэдзин на минарет идет,
и молча старики присели у мечети.
Отчетливо звенят гортанные слова
в вечернем воздухе, протяжные как стоны.

Им вторит иногда, вдали, едва-едва
церковный колокол. И вместе плачут звоны...

Все ниже солнце. Вот в огне его луча
холмов песчаные порозовели склоны
и гаснут. В сумерках, отрывисто мыча,
понурые бредут волы в свои загоны.
И дружною толпой, окончив страдный день
в окрестных табаках, работницы-хохлушки
пройдут по зеленям и, уплывая в тень,
затянут вольные, знакомые частушки.
И Русью вдруг пахнет, и сердце защемит...
Уйти бы вдаль — туда, в раздолья ветровые,
где не избыть ни слез, ни крови, ни обид.
Отечество, прости! Воскреснешь ли, Россия?

Весна давно прошла. Отпели соловьи,
кукушка за рекой и та откуковала,
и вылетели пчел мятежные рои,
веселой зеленью долина заиграла.
Короче солнца путь и жарок летний прах.
повысохли ручьи на дне ущелий сирых,

черешня дикая поспела на горах,
и яблони цвели и отцвели в чаирах.

Как скоро! Поглядишь: румянятся плоды
и пухнет помидор в соседнем огороде,
желтеют пажити, огромные скирды
насупились в полях. Уж лето на исходе!
Но так же все горят и нежат небеса,
и рано-порану туманы гор колдуют,
и по краям ложбин кудрявятся леса,
и в рощах горлицы без умолку воркуют.
Все той же музыки мечтательной полна
краса осенняя твоих угодий, Скеле, —
и утра благовест, и ночи тишина,
и звоны полудня, и вечера свирели...

Скеле у Байдар. 1919.

НАГАРЭЛЬ

Памяти Н. С. Гумилева.

1

Нет, больше, сударь! Шестьдесят четыре.
Уж двадцать два — на Флоре капитан,
а раньше: Грек, Меркурий, Океан...
Да старость не на радость в Божьем мире.
Удушье, знобь, не голова: чурбан.
Ногами тоже плох, со сна — что гири.
Немудрено, по кругосветной шири
намаешься в ненастье и туман.

Зато и пожил. Sacramente... Споро.
Где ни бывал, что песен да вина!
А женщины! Послушай, старина...
Но крепче всех запомнилась одна:
плясунья из таверн Сан-Сальвадора,
креолка, Нагарэль, дочь матадора.

2

Извольте, расскажу. Хоть забулдыга,
поверьте на-слово: не врал досель.
Что было, сударь, было. Нагарэль...
Оглянешься, и память — словно книга.
Ну-с, в ту пору уж несколько недель
у Бахии, на палубе Родрига,
потрепанного парусного брига,
я проклинал тропический апрель.

Зной, ливень, штиль. По вечерам из порта —
и музыка, и песни. Как дурак,
ночь напролет стоишь, стоишь у борта,
в уме прикидываешь так и сяк
и отпуска, бывало, ждешь до чорта.
Однажды утром... Чокнемся, земляк!

3

Однажды: «Юнга, — слышу голос, — в рубку!»
Бегу. А капитан (старик, добряк
и пьяница: да трезвый — не моряк)
глядит хитро, пожевывает трубку.
«Что-ж, твой черед!» — и показал на шлюпку.
Весь день в порту, из кабака в кабак,
брожу с матросами, курю табак
и вздрагиваю, как завижу юбку.

Тогда же под вечер в таверне «Крот»
и встретились... Ну, подмигнул украдкой.
Пришла, подсела, черным глазом жжет.
Молчит... И вдруг, змея, прильнула сладко
и на тебе! — поцеловала в рот.
Так началось. А кончилось... не гладко.

4

Да, началось. На долгую беду.
Не ем, не сплю. Шатаюсь день без толку,
а ночь — скорей на бак: залезу в щелку
и притаюсь, да за-борт. Как в бреду.
Плыву, ныряя чайкой, на гряду
отлогих дамб, к рыбачьему поселку
и там на отмели мою креолку
между сетей и старых тряпок жду.

Частенько не придет. Плывешь обратно
и Божий мир не мил. А невдомек,
что сызмала девица-то развратна
и ночь, поди, прогуливает знатно...
Эх, сударь, молодость! Жил паренек,
да наскочи, как рыба на крючок.

5

Влюбился — смерть! Красавица? Нимало.
Жердинка смуглая, пятнадцать лет.
Но взор, повадка, бровь углом... Да нет,
не рассказать. Ну, бес. А уж плясала!
Сорвется — вихрь, запляшет белый свет.
Плывет, горит. Вот кружится, вот стала
и прыг на стол — и каблучком удало
отстукивает трели кастаньет.

А то раздета, бубен — ишь сноровка! —
танцует голая. И грех, и стыд.
Какой любви мужчинам не сулит:
вся выгнется и грудью шевелит
и бедрами поводит этак ловко.
Дурная, сударь, сущая чертовка!

6

Наш парусник грузился понемногу,
когда задул попутный нам зюдвест,
и капитан решил: немедля в Брест.
Для храбрости слегка глотнул я грогу.
Простились. Да... Она сняла свой крест
и мне надела с клятвой на дорогу.
А я клялся — себе, и ей, и Богу —
вернуться через год из дальних мест.

Разбойничьей послушные примете,
мы снялись в ночь. И вот, уж на рассвете
(с брам-реи вдаль глядел я), смутным сном
казался порт в тумане заревом,
а там — и отмель, и рыбачьи сети,
и словно кто-то машущий платком.

7

И что-ж? Ровненько через год, в июне,
до одури любви изведав плен,
я бросил бриг у гибралтарских стен
и в Бахию приплыл-таки — на шкуне.
Да, молодость, — чего не дашь взамен.
Как счастлив был и горд я накануне!
А за год-то в моей морской фортуне
произошло довольно перемен:

и денег прикопил, и стал матросом, —
не юнга, чай, — большим, густоволосым
(мне было прозвище «Кудрявый гусь»)
и, кажется, не слишком тонконосым.
Я так мечтал: посватаюсь, женюсь
и фермой где-нибудь обзаведусь.

8

Знакомые места! Живым манером —
к отцу, торреро. След простыл. Беда!
Я начал поиски: туда, сюда,
в таверны, к рыбакам, в притон к мегерам.
Один ответ: весной сбежала. Да!
Не то с проезжим русским офицером,
не то с другим каким-то кавалером —
в Европу, в Азию, невесть куда.

Ах, сударь, тут, уединясь в сторонку,
я понял, что любовь и злость точь-в-точь
одно... Ведь я любил, любил девчонку,
а в мыслях: вот схватить бы, истолочь
да в море вышвырнуть, как падаль, прочь!
И кулаком грозился я вдогонку.

9

Но время лечит все: рубцы от ран,
обиды сердца, медленное горе.
Мою любовь угомонило море,
развеял ветер, усыпил туман.
Не скоро, но забыл, для новых стран
и новых встреч, о днях в Сан-Сальвадоре.
Утешился. Сначала в Балтиморе,
потом в горах Невады у гитан.

Из порта в порт за грузом, без оглядки.
Сегодня Рио, завтра Уругвай.
В Тай-пей чаи, в Гюэ бананы сладки.
На Яве помирал от лихорадки.
Тонул в тайфун, — ну, думаю, прощай!
Бывало, тяжело, бывало — рай.

10

Матросам, сударь, что? И небогаты,
а веселы в свой час. То здесь, то там,
небось, научишься по кабакам
залежные прогуливать дукаты.
Да, времячко! Жилось. Команда — хваты.
И сколько их, красавиц, льнуло к нам
всех званий и мастей: марсельских дам,
фузанских гейш, гречанок из Галаты...

У нас, у моряков, особый дар:
хоть женщины охочи до обновок,
да любят нас, будь только парень ловок,
без умысла — за молодость и жар,
за якоря и бронзовый загар
и голубой узор татуировок.

11

Прошло лет шесть... Нет, восемь. Из Босфора
спешили мы в Калэ. Как вдруг — нордост.
Волна взбесилась, заливает мост.
Тут я в Лагос укрылся от простора.
На набережной давка. Вдоль забора —
афиши, флаги. Перед будкой — хвост.
Прочел: Театр «Минерва»... Между звезд —
мисс Нагарэль, звезда Сан-Сальвадора.

Что было! Разве скажешь? Не речист...
Заплакал, верите-ль? Да к чорту! Нервы.
Бросаюсь в кассу. Ряд? — Поближе, первый.
И ровно в семь, за час, приглажен, чист,
разглядывал я занавес «Минервы»
и зал пустой. А сам, дрожу как лист.

12

Запомнился мне вечер! Ни актрисы,
ни действия не видел я грехом.
Всё — сцена, зал — летело кувырком,
душа — котел, а сердце съели крысы.
В антракт, собравшись с духом, за кулисы.
Что? узнаешь? — Сначала, нет. Потом:
Ах, ты? — спросила, — поминаешь злом?
И выпорхнула кланяться на бисы.

Я все сказал: — Клялась ты, Нагарэль,
твой крест на мне. Куда бы ни бросала
судьба — в грозу, в полярную метель,
в водоворот тропического шквала, —
на всех путях ты, маятная цель,
звездой небес передо мной сияла!

13

Стучусь опять, а сердце — хоть умри.
Вон-на! У ней какой-то португалец.
Я замер. Ну, — смеется, — мой скиталец,
коль хочешь, приходи попозже... в три,
живу я: пять, на площади Бари, —
и протянула надушенный палец.
Как пьяный, вышел я, смешной страдалец:
приду ужо, да только отопри!

Лил дождь, и ветер гнул стволы, бушуя,
когда в кромешной тьме я подходил
к назначенному дому. У перил
я задержал шаги, беду почуя.
Прислушался: сквозь смех — звук поцелуя...
Ощупал нож и к двери. Отворил.

14

Ее тогда увидел... разодетой,
а на столе хрусталь, вино, цветы,
и тут-же — наглого в углу тахты
того синьора с длинной сигаретой.
Мне в душу кровь ударила: «Эй, ты!» —
я сшиб его и волю дал кастету,
всего измял, расплющил, как галету,
и шлепнул вниз с балкона. В грязь, в кусты.

Затем уж к ней. «Молись!» — Хрипит от страху
проклятая. И вдруг мою наваху
как выдернет, да мне же в щеку: на!
Боль чортова, но ненависть сильна.
Я придавил ее. Кровь... тишина...
Рука не дрогнула. Нож — в сердце, смаху.

15

Так свой рассказ, — мы были в кабачке
обугленного дымом Порт-Саида, —
окончил шкипер, сумрачного вида
гигант с багровым шрамом на щеке.
О, как близка была его обида
мне, грешному! В его седой тоске
печаль о тех, что скрылись вдалеке,
вмиг ожила... О, память-Немезида!

Я вспоминал: и реял сонм теней,
ко мне взывали призрачные хоры...
И слышал я, в прибое волн, укоры
всех, всех... погибших, может быть страшней,
чем ты, моряк, мне рассказал о ней,
о Нагарэли из Сан-Сальвадора...

Ржевница. 1921.

ЛУННЫЙ ВОДОЕМ

Лампада гаснет, дым бежит,
Кругом все смерклось, все дрожит..,
«Руслан и Людмила».

1

Огонь потух, и пусть — оставь заботу!
Пусть лунная лазурь из-за гардин
угасит лак докучливый картин
и мебели седую позолоту.
Так, день за днем — о, сколько раз, без счету! —
здесь у камина я сидел один,
и догорая наводил камин
на одиночество мое дремоту.

Потух... Часы двенадцать бьют в углу.
Сквозь сон смотрю на мертвую золу,
неумолимому внимаю басу.
Бой, равнодушный бой к добру и злу,
что говоришь полуночному часу?
Умолк... Дверь отворилась на террасу.

2

Я вышел в ночь. Полуувядший сад
благоухал в осеребренных дымах,
фонтанами аллей неисчислимых
просвечивало кружево аркад.
И проходя вдоль миртовых оград,
я запах узнавал цветов любимых...
Вот и бассейн: на водах недвижимых
уснули лебеди у балюстрад.

Как в зеркале, садовая руина
и кипарисы отразились в нем,
шиповником заросшая куртина
и статуи богинь. И вея сном,
из пасти у чугунного дельфина
струя бежала в лунный водоем.

3

Я наклонил лицо над водоемом,
в мои глаза взглянула глубина
прозрачных вод: огромная луна
плыла внизу на небе незнакомом.
О, как влекла подводная страна
в печаль свою нездешнюю, к истомам,
которых нет на свете, к лунным дремам,
к преображению земного сна...

На рубежах державы чародейной
я призрак вызывал отшедших дней
и слушал тишину благоговейно,
и сумраки аллей сливались с ней,
струи журчание и мгла теней
и блеск луны на мраморе бассейна.

4

И все смешалось: ночь, вода и тени,
развалина и статуи богинь...
Один среди мерцающих пустынь
я плыл в ладье по воле наваждений.
Ни свет, ни тьма — туманы отражений,
скользящих волн опаловая синь,
чуть слышный плеск, волшебная теплынь,
да спутник мой, дельфин, за мною в пене...

Кто я? Куда плыву? Ах, все вокруг
в просторах сказочных мне было внове.
Куда?.. И голоса запели вдруг —
необычаен был призывный звук:
«Плыви, плыви к царевне Меодове!..»
Но песнь оборвалась на полуслове.

5

И только дивные замолкли зовы,
смотрю — у пристани всплеснул дельфин,
и уж несут ковровый паланкин
навстречу мне послы от Меодовы.
Их семеро, горбаты как один, —
страшилища, но мне служить готовы:
ведут меня, почтительно-суровы,
сажают не спеша под балдахин.

Покорствуя незваным скороходам,
над головами их, как падишах,
вознесся я на шелковых коврах
и чуть дыша, невидимый уродам,
покачиваясь в шаг под зыбким сводом,
разглядывал их тени в камышах.

6

Тропа давно кружила вгору. Слева
уступами утесы плыли ввысь,
и корни цепкие по ним вились
змеиного, распластанного древа.
А справа — там, где, выдохнут из зева
дремучей пропасти, туман повис,
там черный цвел между камней ирис,
цветок забот, уныния и гнева.

Все круче и тесней нагорный путь
стремниной каменной, к безвестной цели.
Узка тропа, и некуда свернуть —
страна пустынная: бесплодье, жуть,
сухие мхи, обветренные ели
да серный дух из придорожной щели.

7

Под облака — семь ярусов зубчатых,
узорами невиданной резьбы
разубраны гранитные столбы,
на скалах — тени от шатров рогатых.
Как идолы у входа, в черных латах,
опершись на щиты, стоят рабы,
а на щитах зловещие гербы:
семь жаб, в кольчатом обруче, крылатых.

Она в плену, в плену у колдуна! —
дивился я, замешкав на пороге.
Но тут ворота настежь: кто-то строгий
махнул клюкой из узкого окна,
и под-руки четыре горбуна
ввели меня в заклятые чертоги.

8

Насупленный, нос клювом, одноглаз,
горбат, космат, на паука похожий
вскочил колдун, урод землистокожий,
и зашипел, в дверях приметя нас.
И вскинулся весь двор его тотчас:
шуты, шутихи, евнухи, вельможи,
толпою обступив, шипели тоже,
приплясывали, злобно подбочась.

Где-ж, где она, царевна Меодова?..
Но не успел я выговорить слова —
колдун-горбач ощерился опять
и знак дает: завыла злая рать,
на клочья растерзать меня готова.
Я вырвался, к воротам — и бежать...

9

Коня, коня! И крутобедрый конь —
ко мне: храпит и вздрагивает в мыле.
Слились, взвились, умчались, закружили, —
земля горит, из-под копыт огонь.
И мимо, мимо колдовские были,
вершины скал и топей дольных сонь,
неистов конь, не сдержишь — только тронь:
крылатый вихрь, клубы кремнистой пыли!

Лети, нежданый друг, — скорей, скорей
в полдневный край, к великому Султану!
Он справедлив, полки его достану,
по круче двину боевых коней
и на гнездо бесовское нагряну.
Остерегись, горбатый чудодей!

10

Дворец Султана — как морское дно:
в подвалах сонных золотые руды,
чеканных сбруй, клинков дамасских груды,
шелки Багдада, смирнское руно.
Недаром чужеземные верблюды
к нему протаптывали путь давно:
набиты сундуки полным-полно,
все жемчуг, бирюза да изумруды.

Но не сокровища — на что они? —
не подвиг ярости и отомщенья...
Иное сердцу снилось утешенье:
Занеба, дочь Султана... Ах, в те дни
я жил мечтой: все помыслы мои
к Занебе страстное влекло томленье.

11

«Ты узнаешь ли? Матерью-луной
я создана из сумрака ночного
и с той поры у чародея злого
ждала, томясь. И ты пришел за мной!
Сильна любовь, чудесен рок земной:
не для тебя-ль я воплотилась снова?
Перед тобой — Занеба-Меодова,
возлюбленная лунной тишиной».

«Люблю тебя, Занеба! Образ твой —
как вешний цвет с неведомой вершины».
«Как небо звездное, твой взор единый,
люблю тебя, пришелец роковой».
«Твой голос, нежная, как гуд пчелиный».
«Твой поцелуй — как мед, желанный мой».

12

И пир — горой! Стоит в палатах злачных
веселья гул до утренней звезды,
гостеприимны пышные сады,
играет пена в хрусталях прозрачных.
Заморские на золоте плоды,
в алмазах слуги — рой арапов мрачных.
Не молкнут здравицы за новобрачных
под звуки флейт и струнные лады.

Невеста милая со мною рядом.
Не говорит — сияет, и тишком
коснется чуть сафьянным сапожком:
то пригрозит невинно-смелым взглядом,
то вдруг задумалась невесть о чем
и вспыхивает вся, зовет к отрадам.

13

Мы были с ней одни в опочивальне,
еще нежней от лунной тишины.
В сияньи затуманенной луны
она казалась мне, как небо, дальней.
Люблю! — блаженные лелея сны,
я повторяю пламенно-печальней
и грешником в дверях исповедальни
дрожу пред алтарем ее весны...

Но миг — что это, Боже! — посвист властный,
и свет погас, и буря ворвалась:
из рук моих в туманы унеслась
таинственная плоть... И нет прекрасной,
и лик судьбы грозит во тьме ужасный!..
И в дымах тьмы все сгинуло тотчас.

14

Полуночи последние удары —
часов все тот же бой, и лунный свет
из-за гардин, золы в камине след
и на картинах — море и корсары.
И та же грусть моя, товарищ старый,
незаменимый друг от юных лет...
Но нет! Везде запечатлелся бред,
все тайные преобразили чары.

Я комнату в испуге оглянул:
здесь кто-то был и холодом дохнул,
у двери затаился приоткрытой.
Проснулась тишина... И близко чьи-то
шаги мне слышались и темный гул —
откуда-то из вечности забытой.

15

Я вышел в ночь. Полуувядший сад
благоухал в осеребренных дымах,
фонтанами аллей неисчислимых
просвечивало кружево аркад...
Вот и бассейн. Но призраков любимых
не узнаю: дельфин и статуй ряд
и стая лебедей у балюстрад —
все плыло жутко в водах недвижимых.

И подле женщина стояла: Тень.
Ее лицо туманное сияло
и взор манил... Она звала устало
к себе, с собой, в потусторонний день...
И подойдя: Кто ты, — спросил я, — Тень?
Но в тот же миг видения не стало.

Ржевница. 1923.

КОСТЕЛ

(Венок сонетов)

1

Молюсь изгнанником у врат костела.
Здесь ближе Бог и сердце горячей,
и мертвую латынь земных речей
животворит огонь Его глагола.

Прохлада, полутьма, на камни пола —
из окон стрельчатых снопы лучей.
Распятье и ковчег и семь свечей,
Мадонны лик — над кружевом престола.

О, времени святая нищета!
Века, века молитв и клиры мертвых,
всеискушенные жрецы Христа,
тень инквизиции на плитах стертых, —
кламиды королей в пыли простертых...
Величий дым... И мудрость, и тщета.

2

Величий дым... И мудрость, и тщета.
Слепого Хроноса казнят обиды, —
в пучинах дней ты, призрак Атлантиды,
племен и царств поверженных мечта!

Развалин прах могильный, немота
земных пустынь, седые пирамиды,
висячие сады Семирамиды,
песками занесенная мета...

Эллады сон, миродержавье Рима,
развенчанный Царьград, Россия... Мимо!
Все минется. За мигом миг — черта
в небытие скользит неотвратимо,
и любящих целует смерть в уста.
На всём, над всем, над всеми тень Креста.

3

На всём, над всем, над всеми тень Креста.
И здесь покоище: у двери храма,
касаясь плитами, так строго, прямо,
гробницы — вряд. И каждая плита,

прощальными словами заклята,
о вечности благовестит упрямо.
А рядом черная зияет яма,
в обитель тьмы отверстые врата.

Кого-то ждут? И сердце уколола
тоска щемящая... Немного дней, —
как знать? — и мне, взалкавшему Престола
изгнаннику, сойти под свод камней...
И все забыть! Но вспоминать страшней.
В родной земле и холодно, и голо.

4

В родной земле и холодно, и голо.
Скорблю во тьме. И мир зовет иной,
и жаль всего — всего, что было мной,
чего в душе и смерть не поборола.

Последний грех загробного раскола,
тоска последняя любви земной,
и долгий путь неведомой страной,
тропами заповеданного дола...

Иль это бред? И там, в небытии,
Харону я не заплачу обола
и Стикс туманный не умчит ладьи,
и дух развеется струей Эола,
отдав земле земные сны свои?
Иль человек лишь прихоть произвола?

5

Иль человек лишь прихоть произвола?
Нет, Господи! — пылает купина
неопалимая. Сгинь, сатана,
бессилен яд змеиного укола!

В слезах склоняюсь я на камни пола,
целую луч, упавший из окна.
Ах, верю в свет, Пречистая Жена,
от Твоего земного ореола...

Как нежен лик престольного холста —
и прозорлив, и милостив бездонно,
как ласково-божественны уста!
Люблю Тебя коленопреклоненно,
в Тебе одной люблю любовь, Мадонна,
и все, чему названье — красота.

6

И все, чему názванье — красота,
не отблеск ли отчизны неизвестной,
где музыкой и тишиной чудесной
из края в край долина залита,

и внемлет херувимам высота,
и ризами Невесты Неневестной
сияющий под скинией небесной
обвит алтарь воскресшего Христа!

Но только миг... Погасло умиленье,
и слезы уж не те. И ты — не та,
обитель слез и самоотреченья,
любви смиренной, бдений и поста:
тысячелетнее столпотворенье,
неверия и веры слепота.

7

Неверия и веры слепота.
Монахи в рубищах. Венцы, тиары.
Надменный пурпур, медные удары
колоколов, и Божья нагота...

Не ты ли, Рим? Надежнее щита
не мыслил водрузить апостол ярый.
Флоренция, — о, мраморные чары, —
и ты, венецианская мечта!

Крылатый Марк. У пристани гондола.
Выходит дож, внимает сбиру юн, —
литая цепь на бархате камзола.
А в храме золото стенных икон
мерцает призрачно, уводит в сон,
в даль запредельную святого дола.

8

В даль запредельную святого дола
и в красоту влюбленные творцы,
не вы-ль воздвигли храмы и дворцы
над нищетой апостольской Престола?

Воистину, не вы ли, Божьи пчелы,
пред Господом художества жрецы,
несли в алтарь и кисти, и резцы,
свершая труд великий и веселый?

Чертог разубран кружевом лепным,
мозаикой, парчей тонкоузорной.
Но этот дар угоден ли соборный
Тебе, пред Кем дары земные — дым?
Благословен ли подвиг рукотворный?
Что знаем, Господи! В веках горим.

9

Что знаем, Господи! В веках горим,
в веках Твоих — надеждой и гордыней
скорбим ли о небесной благостыне
иль вожделеем к дочерям земным.

Что свято? Что соблазн? Неизъясним
двужалый взор праматери-богини.
Кощунствуем, ревнуя о святыне,
молясь Тебе, кумир животворим.

Буонарот! В часовне Ватикана —
прельстительный Олимп. Да-Винчи, маг!
Предтеча твой — женоподобный Вакх.
На ложе нег Данаю Тициана
ласкает Зевс... А там — Голгофа, мрак,
и кровью жертвенной точится рана.

10

И кровью жертвенной точится рана
за всех, за вся... И кровь любви — на нас,
услышавших о Сыне отчий глас
на берегу песчаном Иордана.

Дух-голубь над купелью Иоанна,
судеб земных передрассветный час.
Века, века... И день давно погас.
Забрезжится ли вновь? Гряди, осанна!

И вдруг органа гром. Победный гимн
гремит, растет, расторгнуть своды хочет...
Вот рухнули: пророчеством благим
труба архангела с небес грохочет.
И голос: « Pax vobiscum » — пробормочет.
Я чуда жду, заблудший пилигрим.

11

Я чуда жду, заблудший пилигрим,
и древние обряды литургии,
все те же от времен Александрии,
текут медлительно. Я внемлю им

и вижу: холм и три креста над ним,
уснули воины, у ног Мессии
простерты неутешные Марии,
поодаль — осторожный Никодим.

И слышу, вопль из далей Ханаана
воззвал к Тому, Чье царство искони:
Или! Или Лама савахфани!
Мне страшно. Тмится солнце... Вспыхнув рдяно,
померкли вдруг лампадные огни
в тумане ладана, в грозе органа.

12

В тумане ладана, в грозе органа
чредой плывут видения времен:
волхвы, апостолы, Пилат, Нерон,
последний жрец над прахом Юлиана.

Сбылось! Земля тиарой осияна,
превыше царств Петра вознесся трон,
и рыцари спешат, за сонмом сонм,
на клик христолюбивого тирана.

«В Иерусалим!» И рати слышат клик.
Вот ринулись на воинов Корана
и грабят пышный град Юстиниана.
Пиры неправедных, закон владык,
и торг, и блуд в кумирнях базилик...
Сомкнулся круг священного обмана.

13

Сомкнулся круг священного обмана.
Уж не стою ли посреди руин
державы, вознесенной до вершин
и рухнувшей? Сомкнулся? Или рано?

Кто скажет? Там — в моленной, у фонтана
в саду своем разросшемся, один,
торжественной неволи властелин,
безмолвствует затворник Ватикана.

Осиротел Твой дом и стал чужим,
в забвении — таинственней и строже.
И кажется: Твои глаголы, Боже,
из уст священника не к нам, живым.
Но мертвые Тебя не слышат тоже...
Распятый Иисус... Державный Рим!

14

Распятый Иисус... Державный Рим!
Скрижали битв и шелест голубиный,
боголюбви гласящие глубины,
зломудрие богоотступных схим!

Враги, народы — вихрем грозовым:
норман и мавр, монгольские лавины,
гусситы, альбигойцы, гибеллины,
все попранные посохом твоим.

Бред шабашей и огненный Лойола,
суд милости — костры средь площадей,
и в пламени костра Савонарола...
Все сгинуло. Все сгинет. Казни сей
что избежит? О, Матерь всех скорбей,
молюсь изгнанником у врат костела.

15

Молюсь изгнанником у врат костела.
Величий дым... И мудрость, и тщета.
На всём, над всем, над всеми тень Креста,
в родной земле и холодно, и голо.
Иль человек лишь прихоть произвола,
и все, чему названье красота, —
неверия и веры слепота
в даль запредельную святого дола?

Что знаем, Господи! В веках горим,
и кровью жертвенной точится рана.
Я чуда жду, заблудший пилигрим.
В тумане ладана, в грозе органа
сомкнулся круг священного обмана.
Распятый Иисус... Державный Рим!

Прага — Париж.
1922—1926.

AMOR OMNIA

Марии Веньяминовне Абельман.

На венецейском кладбище когда-то
прочел я надпись: — Здесь почиет прах
Лукреции и Гвидо, в небесах
соедини, Господь, любивших свято.

«Любовь, синьоре! — пояснил монах.
— Жил Гвидо вольной птицей, да она-то
была за герцогом ди Сан-Донато.
Их тайну выдало письмо. Всердцах

обоих заточил супруг: был зорок
ревнивый герцог и душой кремень.
А умерли они, спустя лет сорок,
хоть жили врозь, да чудом — в тот же день».
Монах умолк. И набегала тень...
И древний ночь договорила морок.

ОН

Мадонна! Сон приснился мне чудесный:
как будто, по пути, я встретил вас
близ Santa Carita. Был утра час,
с дуэньей ты к обедне шла воскресной.

Я — следом. Дверь — и с живостью прелестной
ты обернулась... Синий омут глаз
волшебно вспыхнул... Вспыхнул и потас,
но озарил миры зарей небесной!

Ах, этот взор (простишь ли ты мечте
художника и дерзости невольной?)
запечатлел я кистью на холсте:
да светится, в нетленной красоте,
безгрешный лик Владычицы Престольной
моей тоской и страстью богомольной...

ОН

О, сон обетованный, повторись!
Пред образом твоим клоню колена,
молюсь Единственной, над миром тлена
боготворю таинственную высь.

В одной мольбе слова мои слились,
и не уйти от сладостного плена, —
Лаура, лебедь райская, Елена,
виденье вожделенное, продлись!

Как льды вершин, я знаю, знаю — латы
любви твоей... Но зноен Аполлон,
лучи его разящие — закон,
лобзанья огненного бога святы.
Явись, явись! В то утро не лгала ты...
О, повторись, обетованный сон!

ОН

Опять молчишь, надменная синьора?
Иль сердце без ответа на призыв?
Или забыла сон? Иль, не забыв,
раскаялась в короткой вспышке взора?

Нет, не ропщу! В любви я терпелив,
не отдаюсь отчаянью так скоро...
Но ты молчишь. Больнее нет позора,
чем эта казнь за пламенный порыв!

Не знатен я. Копье свое, как жало,
врагу мой пращур не вонзал в забрало, —
но солнце любящих в моей крови.
Я беден. Пусть! Ничтожным не зови
того, кому сокровищ Бога мало
за тень, земную тень твоей любви.

ОНА

Ты прав, Мессир! Любовь—как полдень жаркий.
Признаюсь ли? От солнечных лучей
растаял лед... И прожурчал ручей,
ручей души на языке Петрарки:

«О, горе мне смиренной! Слишком ярки
сверканья Феба, страшен зной речей —
мне, в сумраке довременных ночей
внимавшей лепету дремучей Парки...

Дай вновь уснуть измученной рабе
Всевышнего! На что она тебе?
Обманет сон. Неволя жизни — пытка.
И дни мои, и слезы о судьбе,
за каплей капля на пергамент свитка —
что жемчуга разорванная нитка».

ОН

В немой дали небесных узорочий
Творец качает мира колыбель,
сквозь тьму, огонь и звездную метель —
одна любовь у богоносной ночи.

Туда — и дальше, к берегам земель,
где тишина блаженный рай пророчит
и Матерь Древняя во сне бормочет,
разматывая вечную кудель!

Туда — в Эдем любви, за грань вселенной,
где веет Дух, начало всех начал,
и нас венцом бессмертья увенчал
Энтелехии свет неизреченный, —
где купиной звезды благословенной
светильник наш вовеки просиял!

О Н А

Хвала певцу! Рассудок ослеплен
сияньями божественного лона,
и поклянусь я мудростью Платона:
всемудры Аристотель и Платон!

Ах, царственна любви твоей корона
звездоубранная, и вознесен
в селенья горние наш... грешный сон,
так близко от церковного амвона...

И все-ж боюсь, — открыться ли шутя? —
что, на земле о неземном грустя,
я изменить могу бесплотной яви,
что грусть моя не о надзвездной славе,
что все-таки я женщина, хотя...
быть женщиной, как будто, и не вправе.

ОН

Ленивый плеск, серебряная тишь,
дома — как сны, и отражают воды
повисшие над ними переходы
и вырезы остроконечных ниш.

И кажется, что это длится годы...
Скользит луна по черепицам крыш.
И где-то песнь, и водяная мышь,
как тень, шмыгнет под мраморные своды.

У пристани заветной не спеша
в кольцо я продеваю цепь. Гондола
покачиваясь дремлет, — чуть дыша
прислушиваюсь: вот, как вздох Эола,
прошелестит в окне ее виола...
И в ожиданье падает душа.

ОНА

В окно — жасмины купой озаренной,
ни звука из серебряной тиши.
Каналы пусты... Ночь! — как хороши
узоры вод и месяц отраженный.

Ночь! Я безумствую. Нет сил влюбленной,
изнемогающей унять души...
Эвтерпа милая, ко мне спеши,
дай сердце выплакать виоле сонной!

Ах, все, что не сказала-б никому,
ночь! — говорю без слов ему, во тьму,
в мерцающую тишину лагуны,
и думаю, перебирая струны:
вон-там, у пристани, любовник юный
внимает, ночь! — безумью моему...

ОН

Не может море укротить прилива,
унять не может сердце страстных мук.
На берега нахлынут волны вдруг.
Ты слышишь? — пенятся, кипят бурливо...

Судьба зовет, последний чертит круг,
и ждать нельзя: любовь нетерпелива
и только безрассудная — счастлива.
Прочь из Венеции! Со мной, на юг!

Там, где-нибудь в заброшенном виллино,
среди олив родного мне Урбино
забыв твой герб и герцогский венец,
тебе отдам всю душу наконец, —
одной тебе: и кисти, и резец...
И райской будет нам земля долиной.

ОН

Доверимся созвездьям зодиака:
перед постом, к восходу «Рыб», ночной
у Дожа пир. Толпа зальет волной
Пьяцетту... Жди условленного знака!

С ватагой ряженых в чертог со мной
войдет паяц. Шутник и забияка —
приятель мой: где он, уж там и драка.
Тогда — ко мне! Из двери потайной

направо, вниз, среди переполоха
вельмож и слуг. С меня бери пример:
вперед, смелей — сквозь толпы скоморохов,
гитан, волхвов, чертей и баядер!..
Гондола будет ждать у Моста Вздохов —
без фонаря, и в маске гондольер.

ОНА

Ах, Гвидо, Гвидо, это-ль искупленье?
Коснулся уст божественный потир
и расплескался весь. И рухнул мир.
Мы — под обломками, и нет спасенья.

Он знал, суровый муж, готовил мщенье...
И только вышла я, покинув пир,
смотрю — за мной, проворной тенью, сбир!
Письмо! Была подкуплена дуэнья.

А дальше? Милый! За тебя мой страх,
всю ночь бессонную брожу в слезах:
Совета Десяти не шутят слуги...
Где ты? Спасен? Далеко ли? На юге?
Иль — пойман, здесь, под сводами, в цепях —
томишься о потерянной подруге?

ОН

Послание твое слуга донес, —
вручить ответ поклялся он... О, Боже!
Я жив еще! Но стали дни похожи
на темный бред, вся жизнь — как чаша слез.

А впереди застенок и допрос:
суд короток у венецейских дожей...
Изгнанье? Нет. Уйду в обитель тоже —
туда, в приют, где я младенцем рос.

Бесцельно все в потоке мира шумном.
Что дар мой без тебя? — унынье, гнет.
Туда, к святым отцам — один исход!
В монастыре я дружен был с игумном.
Он милостив: тоску мою поймет,
узнав тебя — не назовет безумным.

ОНА

Заутра я для мира умираю.
Часы, как молот, бьют. В монастыре
одна не сплю и плачу... На заре
я принимаю постриг: дух вверяю

и тело Господу. Любя, сгораю
раскаянно на медленном костре, —
как дым кадильный, возношусь горе,
забыв о счастьи, неугодном раю.

И ты забудь! Не мучь души. Вернуть
надежд обманутых не в нашей воле.
На боль осуждены мы здесь, доколе
накажет Бог... Молись! Когда-нибудь
позволит Он и нам уснуть — уснуть
и никогда не разлучаться боле.

ОН

Рука дрожит, глаза мои слабы
и память омрачается затменьями.
Былое смутно и томит виденьями,
а в кельях ждут отшельничьи гробы...

Но тень твою, возлюбленной рабы
Всевышнего, зову я песнопеньями,
и кажутся года разлуки звеньями
связавшей нас таинственно судьбы.

Звезда любви все ближе, все огромнее,
любви вселенской тайная звезда...
На небесах тебя, земную, вспомню я,
и ты со мной пребудешь навсегда.
Представ Творцу, воскликну: Amor omnia!
И ты, небесная, ответишь: да.

Ржевница. 1923.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ТОГО ЖЕ АВТОРА:

Собрание стихов.
Изд. «Содружества». 1905 г. СПБ.

Страницы художественной критики.
Книга первая. Изд. «Содружества», 1906 г.
Книга вторая. Изд. «Содружества», 1908 г.
Книга третья. Изд. «Аполлона», 1913 г.

В. А. Серов (Очерк). Изд. «Аполлона», 1915 г.

Силуэты русских художников.
Изд. «Наша Речь». Прага, 1921 г.

Последние итоги живописи.

«Русск. Унив. Изд-во», Берлин, 1922 г.

Народное искусство Подкарпатской Руси.
Изд. «Пламя». Прага, 1925 г.

Сборник **«Вечер»** (на правах рукописи).
Париж, 1940 г.

Somnium Breve. Стихи.
Изд. **La presse Française et Etrangère.**
O. Zeluck. Paris. 1948.

ГОТОВИТСЯ К ПЕЧАТИ:

Портреты современников
(воспоминания).

Окончена печатанием
1 июля 1949 г.
в Париже

Impr. de Navarre, 11, rue des Cordelières, Paris.